

ХРОНИКА

К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА АРКАДАКСКОГО



6 сентября 2012 г. исполнилось бы 75 лет со дня рождения Юрия Юрьевича Аркадакского – старшего преподавателя кафедры советской (сегодня – новейшей русской) литературы, блестящего знатока отечественной поэзии XX столетия.

Юрий Юрьевич Аркадакский родился в 1937 г. в Балашове Саратовской области. В 1954–1959 гг. учился на филологическом факультете Саратовского университета, занимался в семинаре Евгении Павловны Никитиной. По окончании университета остался работать на филологическом факультете сначала лаборантом, потом преподавателем. В 1962–1964 гг. Ю. Ю. Аркадакский обучал русскому языку и литературе кубинцев в Институте русского языка им. М. Горького в Гаване, с 1976 по 2001 г. трудился на кафедре советской литературы. В центре его научных интересов – творчество А. Т. Твардовского, которое он рассматривал в широком контексте русской литературы XX столетия. Юрий Юрьевич читал лекционные курсы «История русской литературы конца XIX – начала XX века», «История советской литературы», спецкурсы «Русская советская поэма-эпопея», «Творчество А. Т. Твардовского», «Поэты-акмеисты»; руководил спецсеминарами «Творчество А. Т. Твардовского: проблематика и поэтика», «Русская поэзия XX века». Ю. Ю. Аркадакский пользовался неизменным уважением и любовью студентов, в общении с которыми был демократичен, неформален, искренен. Обладая проникновенным филологическим чутьём и недюжинным артистическим талантом, он последовательно и терпеливо прививал студентам вкус к поэтическому слову, помогал им оттачивать мастерство выразительного чтения художественных текстов. Особую благодарность к Юрию Юрьевич в пору его работы в деканате филологического факультета испытывали заочники, в чьи трудные проблемы он старательно вникал и находил справедливые и гуманные решения. Для сотрудников кафедры и факультета Ю. Ю. Аркадакский навсегда остался образцом высокой порядочности, педагогической корректности, мудрой сдержанности и равнодушия.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Из воспоминаний Ефима Исааковича Водноса

Согласно Полю Валери, человек – это наблюдательный пост, затерянный в пределах необъяснимого. Таким постом виделся мне на филфаке Юрий Аркадакский. Или стоящим чуть справа от входной двери с сигаретой в руке, или с той же «Примой» на фоне обращенной к Радищевскому музею торцовой стены нашего корпуса... Курил он как-то очень уж неторопливо, явно что-то обдумывая, словно перебирая возможные варианты. И была некая отрешённость в его взгляде, а может, глубокая погружённость в свои мысли, что-то безусловно взрослое, когда появляется уже искушённая зрелость, отличная от торопливо-стремительных, воспалённых и не видящих сути взоров ранней юности. Должно быть, надо говорить о том, что Самуил Маршак именовал «душевым возрастом», отличным от реально биографического. Мне он виделся человеком другого поколения, но понять, где проходит эта «поколенческая» грань, я не пытался. Казалось, что этот высокий, беловолосый, очень худощавый мужчина жизненно куда зрелее не только меня, но и моих однокурсников, прошедших довольно суровую школу. Многие родились раньше его и видели больше, но такой спокойной умудрённости не вспомню ни в ком из них. Я и воспринимал его не парнем, а именно взрослым мужчиной.

Мельком заметил Аркадакского ещё студентом выпускного курса, но в памяти моей он остался где-то с весны курса второго. И остался именно таким чуть ли не навсегда. Не помню совсем, как произошло наше знакомство. Но Юра был уже лаборантом кафедры русской литературы, когда впервые разговорились с ним.

Евгения Павловна Никитина в моём ответе заметила нечто, идущее от вовсе не рекомендуемых в те годы текстов Д. Мережковского и А. Белого. Я был несколько удивлён такой её осведомлённостью: она поначалу казалась мне абсолютно «правильной», идейно выдержанной и чурающейся всего чуждого. А я же рыскал по символистским изданиям. Вот она и спросила, где это я выискивал подобную трактовку Лермонтова. Поделился с Юрой, а он мне: «Думаешь, один ты интересуешься? Но кто поумней, не засвечиваются...»

Мы часто говорили о современной молодой поэзии. Моё тогдашнее её восприятие было скорее стихийно-жизненным, а не филологическим – без преломляющей призмы жанровой природы, стихового размера, характера рифмовки. Скептическая сдержанность Юры менястораживала: казалось, что непосредственная эмоциональная восприимчивость заметно ослаблена у него знаточеством. Он пристальнее присматривался к самой стиховой ткани, стремился к максимальной прояснённости основного смысла любого стиха, а не только к упоению силой его звучания. «Поэту важен токмо звон...», – иронически цитировал Юра Третьяковского.

Нередко толковали с ним и о поэзии предвоенного и военного поколения. Помню его высокую оценку «Песни о ветре» Луговского, уважительное отношение к Ярославу Смелякову, Павлу Антокольскому, Михаилу Зенкевичу. Именно он посоветовал глянуть ранние тихоновские сборники «Орда» и «Брага», ещё акмеистской закваски. И более поздний его сборник – «Двенадцать баллад». Он видел в его поэзии не только гумилёвское, но и киплинговское начало. А по поводу моих сетований на излишнюю фабульность тихоновской поэзии Юра заметил, что, должно быть, не так уж и случайно, что это единственный поэт среди серапионовских прозаиков. Он говорил об имманентных типологических особенностях жанрового канона баллады, который, конечно, заметно меняется в соответствии с ритмами конкретной эпохи, но в основном сохраняет исконную свою природу.

Сошлись мы на привязанности к позднему Николаю Заболоцкому. Но и раннего Юра знал достаточно хорошо, свободно цитировал. Меня интересовал очень ценный Н. М. Гушиным «олонецкий ведун» с Вытегры Николай Клюев, следы которого (времени ссылки) были и в Саратове. Юра знал его большой сборник ранней советской поры, чуть ли не 1918 года, где об «игуменском крике» ленинских декретов.

Как-то разговорились о философской поэзии. Я уже неплохо знал Боратынского, Тютчева, но сказал, что до замаха державинской «Реки времён», пожалуй, никто не дотягивал, а Юра мне говорит, что забыл я о Фете. «– “Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...” – это что ли?» – «Не это, а совсем другое: “Прямо смотрю я из времени в вечность...” – И добавил: – Надо бы и “время”, и “вечность” писать с заглавной». Я как-то пропустил в Фете философа, держал его за чистого импрессиониста. От Юры услышал, вероятно, впервые, имена Константина Случевского и царскосёла Василия Комаровского.

Как-то обсуждали проблему традиций и новаторства. Он долго говорил (повторять буквально не берусь), и смысл его рассуждений заключался в том, что надо бы отличать преемственность от подражательности, когда заимствуют внешнюю манеру, а не направление поиска. Почему-то перешли к размыванию традиционных жанров, изменению их характерологических признаков. Потом заговорили о подспудном цитатном слое у многих великих поэтов, который не всегда заметен. Он сказал, что если бы мы прочли альманахи и журналы рубежа XVIII–XIX веков, увидели бы тьму вполне справедливо забытых русских поэтов, с которыми «аукался» (часто весьма иронически) Пушкин, да и с забытыми западными тоже. На поверхности только переклички с широко известными.

Потом Юра куда-то надолго исчез: оказалось он на Кубе, учит «барбудосов» русскому. Через пару-тройку лет снова увидел его у филфака. Разговорились. Я, конечно, расспрашивал его о



жизни людей на этом «острове в море свободы», иронизируя над победителем диктатора Батисты, перехватившим его основную функцию. Пришлось к тому времени прочесть и «Партизанскую войну» Че Гевары. Особых иллюзий уже не питал. Но Юра, вовсе не идеализируя тамошней жизни, сказал, что кубинцы и кубинки охотно часами выслушивают темпераментные речи своего много-речивого команданте...

В позднесоветские времена мы встречались значительно реже, чаще случайно сталкивались на улице или в книжном магазине. На факультет я заходил редко, а Юра был всегда озабочен какими-то хлопотами не то о вечерниках, не то о заочниках. Говорили всё больше о жизненных передрыгах, а о поэзии мало. И всё же мне показалось, что он остался приверженцем не поэзии эмоционального выплеска, навеваемой и нагнетающей лирические эмоции, а поэзии повествовательного плана. Его больше привлекали поэты-«смысловики», носители оцувствованной, но чётко формулируемой и развёрнутой в наглядном повествовании поэтической идеи.

Я думаю – почти уверен в этом, – что ему пришлось бы по душе поэтическое размышление Нонны Слепаковой: «С годами, словно речка в даль, / В строфу уходит фраза, / Скромнеет рифма, крепнет сталь / Умелого рассказа. // А раньше? Бурный эпатаж, / Разбег и газировка, / И, точно к розе патронташ, / Привешена концовка. // Что ж лучше? Юность неловка, / Зато неудержима. / А зрелость бьёт наверняка, / Но сжата, как пружина». Близкое ему отношение к задачам поэзии. Особенно учитывая его раннюю зрелость. Не уверен, знал ли он поэзию Слепаковой. Конечно же, мог знать: она публиковалась в альманахах «Дни поэзии», на которые он первым и обратил моё внимание. Особенно в ленинградских. И не только там. Но мог и не знать, не обратить внимания. Сейчас это не так уж и важно. Ведь я говорю только о моём личном восприятии его отношения к тогдашней современной поэзии.

Да, Юра очень ценил Александра Твардовского, но знал и Александра Межирова, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого, Арсения Тарковского, а из молодых отличал Александра Кушнера. Кто-то назовёт иные имена. Каждый говорит о том, что ему запомнилось. А сколько того, что и вовсе не запомнилось. Или случайно всплывает в памяти.

Думаю, что все, кто хорошо знал Юру Аркадакского, согласятся: заметную часть своей души оставил он «в целомудренной бездне стиха» (Н. Заболоцкий).

Из воспоминаний Льва Григорьевича Литвинского

... Когда я познакомился с Юрой, он жил в построенном квадратом двухэтажном доме с небольшим внутренним, тоже квадратным, двориком и с подворотней, выходящей на тихую и опрятную улицу Пушкина. Сложенный из силикатного

кирпича в стиле полумодерна-полуклассики доходный дом когда-то занимали люди не богатые, но и не бедные. Теперь же он был переполнен жильцами, по своему нынешнему социальному статусу не имеющими оснований претендовать на более просторное жильё.

Тёмный коридор коммунальной квартиры вёл в комнату Аркадакских – комнату чуть шире коридора. В комнате – вешалка для верхней одежды, небольшой стол, два спальных места (не помню, каких именно), пара стульев – вот, пожалуй, и всё. Была ли этажерка для книг, нередко встречавшаяся в подобных жилищах того времени, вспомнить не могу.

На небольшую пенсию за погибшего в начале войны мужа и более чем скромную зарплату школьного библиотекаря воспитывала Юру, единственного ребёнка, Клавдия Ивановна. Высокая, заметно сутулая, медлительная в движениях, не отличающаяся энергией и здоровьем, она, видимо, и не помышляла о дополнительном заработке и тихо смирилась с бедностью, полагая, что роптать не стоит – ведь многие так живут, не они одни.

Сын радовал её своим серьёзным отношением к жизни, увлечённостью учёбой в знаменитой на весь Саратов школе № 19 на улице Мичурина, пониманием, что больше того, что она ему дала, дать, увы, не может. Я, да и, пожалуй, никто другой, никогда не слышал от него жалоб на трудности повседневной жизни, скудость питания, невозможность своевременно обновить что-нибудь из одежды и обуви. Казалось, что все эти мелочи быта мало его занимали.

* * *

Интерес Юрия к поэзии и в студенческие годы был не данью тогдашнему всеобщему увлечению, а «одной, но пламенной страстью», которая стала смыслом всей его жизни. Помню, с каким настроением писал он под руководством Евгении Павловны Никитиной дипломную работу о жанре баллады в русской поэзии начала XIX века. Скромность, чувство такта не позволяли ему первым заговорить со мной о прочитанном, передуманном, подмеченном в поэтических текстах. Инициатором бесед был я, неравнодушный к поэзии и литературоведческим знаниям, крупицы которых хотел «выудить» у приятеля. И в душе его теплело, в глазах загорался огонёк, когда начинал, часто с лёгкой иронией над собой, такой разговор. Вот так однажды, отложив книгу в сторону, повеселев, не без смущения сказал: «Знаешь, Лев, а все баллады “ночные”. Понимаешь?» – «И точно», – согласился я, удивлённый, прикинув в уме «ночные» «Светлану» Жуковского и «Киров с нами» Тихонова.

Когда в 1962-м кафедра русской литературы организовала поездку группы студентов в Ленинград, я застал Юрия в зале Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина за чтением книг с пожелтевшими страницами: он читал прижизненное издание Н. Гумилёва. Посмотрел на него – такой уж он довольный! Узкие губы растянулись чуть ли



не от уха до уха, в глазах огоньки – счастливый. Задумался он на мгновение и сказал: «Знаешь, а поэзия-то начала нашего века – непаханая ведь целина». Я подсел к нему и стал читать Гумилёва, впервые в жизни. Понравилось.

А вечером, шагая вместе по зимнему Ленинграду, отделяя паузой каждое слово, дуэтом громко читали запомнившееся:

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пушай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

* * *

Юра любил слушать мастеров художественного слова (у него были грампластинки и магнитофонные ленты с записями их чтения), по возможности не пропускал и выступлений приезжавших мастеров этого жанра. Да и сам он умел читать стихи русских поэтов не хуже, чем известные артисты театра и кино. У него были завидные данные: чистое, благородное звучание голоса, легко узнаваемого и сохранившегося в благодарной памяти тех, кому довелось с ним общаться, хороший вкус и глубокое понимание образности поэтического слова. Он умел художественно читать, но, не имея в те годы – шестидесятые и семидесятые – достаточного опыта публичных выступлений с чтением поэзии, не всегда справлялся с внутренним волнением, что мешало в полной мере воплотить задуманное.

Свою увлечённость, знания и способности он стремился реализовать, обучая художественному чтению других. Многим филфаковцам памятни выступления с чтением стихов и прозы его ученицы Нины Егоровой, обладавшей красивым голосом мягкого и тёплого звучания. Я часто бывал на занятиях, которые вёл с ней Аркадакский, и был свидетелем его кропотливой, поистине профессиональной работы. Чтение стихотворения А. Блока «На железной дороге», где в ходе репетиций были выявлены и объяснены все выразительные средства поэта, навсегда мне запомнилось. Работая в школе, я не пропускал случая прочесть это стихотворение в классе и всякий раз убеждался в том, как глубоко проник в его поэтический мир мой товарищ.

Помню, с каким вниманием в один из вечеров 1962 года в небольшом помещении бывшей протестантской кирхи на улице Радищева ин-

теллигентная публика слушала блоковскую программу, подготовленную Юрием (он вёл рассказ о творчестве поэта) и Ниной, читавшей стихи. Как-то особенно торжественно и тревожно под церковным сводом звучали поэтические строки молодого Блока:

Бегут неверные дневные тени.
Высок и вянтен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив – и ждёт твоих шагов.

По окончании университета Юра работал на филфаке лаборантом кафедры русской литературы. Должность небольшая, зарплата (лучше назвать её жалованьем) пустяковая. Но был смысл согласиться с предложением: открывалась возможность в свободное время пополнять знания о русской поэзии, консультироваться у Евгении Павловны Никитиной, а главное – остаться в Саратове, с мамой уже предпенсионного возраста.

Возможно, сам он проявил инициативу стать неофициальным руководителем факультетской художественной самодеятельности. Кому довелось общаться с ним на этой стезе, помнит его ответственное отношение к делу, выработанный вкус и чувство меры, умение добрым словом поддержать усомнившихся в своих силах.

В те годы было что увидеть и услышать на сцене Девятой аудитории филфака. Ставились сатирические обозрения («капустники»), читали стихи и прозу, исполняли произведения вокальной классики; выступал даже мужской вокальный ансамбль под руководством Володи Егорова (это на филфаке, испокон числящемся женским), Анатолий Кикалов и Оксана Орфани разыграли сцены чеховской пьесы-шутки «Юбилей», Марк Зильберман поставил сатирическую комедию Маяковского «Клоп». И то, что зрителям не преподносили откровенной халтуры, во многом заслуга Юры Аркадакского.

Репетиции и выступления поднимали градус дружеского общения, скрашивали студенческие будни, делали жизнь интереснее и светлее. Помню, как часто после репетиций, которые в канун факультетского смотра художественной самодеятельности затягивались допоздна, мы гурьбой гуляли по проспекту Ленина. Под ногами потрескивал тонкий ледок, покрывавший лужицы на неровностях асфальта, а в холодном мартовском воздухе уже пахло весной.